В109 27

А

К. ПАУСТОВСКИЙ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ НОЧЬ

ВОЕНМОРИЗДАТ

1943

Константин ПАУСТОВСКИЙ

B109
27

ЛЕНИНГРАДСКАЯ НОЧЬ

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКВМФ СОЮЗА ССР
МОСКВА 1943

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

779277

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Ленинградская ночь	3
Держимся, товарищ Нахимов!	21
Томик Пушкина	37
Робкое сердце	59
Струна	76

Редактор *Л. Длигач.*

Подписано в печать 28/VII 1943 г. ГМ 40676. Заказ № 2435. Печ. л. 2½
Печ. зн. в 1 п. л. 45 472. Уч.-авт. л. 2,5

1-я типо-литография УВМИ НКВМФ.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ НОЧЬ

евочка лет двенадцати с длинными косами останавливается у подъезда ленинградского дома. Ветер. Снег. Стекла в парадной двери выбиты.

Девочка берется за бронзовую ручку, с трудом тянет к себе тяжелую дверь. Шатается, садится на снег, закрывает глаза.

Порыв ветра захлопывает дверь. Дверь толкает девочку. Она падает на землю, роняет хлеб. Он откатывается к ступенькам подъезда.

Тотчас взъерошенная ворона подскакивает к хлебу и начинает клевать его.

Топот бегущих ног. Ворона оглядывается и взлетает с сердитым карканьем. К девочке подбегают два краснофлотца в заиндевелых шинелях. В руках у краснофлотцев — винтовки с плоскими штыками.

Краснофлотцы наклоняются над девочкой.

— Дышит,—говорит худой краснофлотец и встряхивает девочку за плечи. — Обморок.

Второй краснофлотец, — коренастый, с белыми от инея ресницами, — подымает хлеб и качает головой:

— Пятьдесят грамм склевала, чертовка, не меньше. И у кого, главное, ворует!

Коренастый подымает винтовку и смотрит на севшую поблизости ворону:

— Хлопнуть ее, Серега?

— Не дури. Надо внести гражданочку в дом. Замерзнет она на снегу.

Краснофлотцы подымают девочку. Она судорожно вздыхает, открывает глаза и виновато смотрит на краснофлотцев.

— Это первый раз, честное слово, — вполголоса говорит она. — Голова и раньше кружилась, но еще ни разу так сильно.

— Далеко живете? — спрашивает худой краснофлотец.

— Нет, здесь.—Девочка показывает на разбитую парадную дверь.

— Пойдемте!

Худой краснофлотец ведет девочку в подъезд. Поддерживает ее за спину. Коренастый идет сзади с хлебом в руке.

* * *

Краснофлотцы вводят девочку в комнату с двумя высокими окнами. Старинная мебель, резные двери. На темных стенах — картины в золотых рамах. Рояль. Около дивана — железная печка-времянка. На полу перед печкой валяется груда книг.

За окнами видна Нева в снегу, ростральные ко-

лонны, покрытые изморозью, здание Биржи. Среди Невы стоит на якорях вмерзший в лед низкий военный корабль. Все затянуто тяжелой зимней мглой, освещено косым, холодным солнцем.

Худой краснофлотец усаживает девочку на диван. Она забивается в угол и кутается в платок. Коренастый кладет хлеб на диван рядом с девочкой, потом присаживается на корточки около печки, бросает в печку растрепанную книгу, но останавливается, вытаскивает ее из печки и перелистывает:

— Марк Твэн: «Приключения Тома Сойера». Нет ли чего похуже?

Роется в книгах, читает названия: «Два капитана», «Алиса в стране чудес», «Каштанка».

— Жгите, — тихо говорит девочка. — Я это уже все прочла. По нескольку раз.

— Жалко. Может, есть барахольная какая книжонка?

Девочка отрицательно качает головой.

— Эх, пропадать так пропадать! — краснофлотец бросает в печку первую попавшуюся книгу и разводит огонь. — Чайника у вас нету? Мы вам кипяточку согреем и пойдем дальше шагать над Невой. Мы патруль.

— Там, на подоконнике.

Худой краснофлотец подходит к окну, начинает отковыривать штыком от стекла наросший изнутри лед и бросает куски льда в чайник.

— Папаша у вас, видать, художник, — говорит девочке коренастый. — Картин много.

— Нет, он не художник.

— Похоже, что музыкант, — замечает худой краснофлотец. — Рояль у вас итальянский. Редкий рояль.

— Нет, он не музыкант.

— А кто же?

— Я одна, — говорит девочка. — Это не моя квартира. Здесь живет композитор Карпов.

— Слышишь ты, лабух? — говорит худому коренастый. — Композитор. Это по твоей части.

— А что это такое — лабух? — спрашивает девочка и застенчиво улыбается.

— По-нашему, по-балтийскому, — отвечает коренастый, — это музыкант. Отставного адмирала горнист или хромой козы барабанщик.

— Матросские шуточки, — замечает худой и ставит чайник со льдом на печку. — Кем же вы приходитесь Карпову?

— Никем, — отвечает девочка. — Я жила в соседней квартире. Тетя Люда умерла две недели назад. А папа умер еще раньше. Я осталась так... совсем без всех... Вот Александр Константинович и взял меня к себе.

— Понятно! — говорит худой краснофлотец.

— Совершенно понятно, — вздыхает коренастый.

— А вы откуда знаете? — спрашивает девочка.

— Что?

— Что это итальянский рояль.

— Кое-как разбираюсь, — отвечает худой краснофлотец и подходит к роялю. На его полированной крышке лежат ноты. Худой осторожно берет их.

— Не трогайте! — испуганно говорит девочка. — Это рукопись.

— Вижу, — отвечает худой.—Симфония. «Ленинградская ночь». Ах ты, чорт! Сразу как сильно берет. Времени нету, а то бы попробовать. — Он нерешительно подымает крышку рояля и трогает клавишу. — Как ты думаешь, Саша?

— Нельзя. Скоро начнется такая небесная музыка, что всё у тебя турманом вылетит из башки. Пошли, Серега!

— Сейчас, — худой прислоняет винтовку к роялю, быстро садится на круглый стул и берет несколько аккордов. — Ах ты, чорт. Как здорово!

Дверь из передней отворяется. Маленький старичок с трудом втаскивает в комнату кусок разбитой чугунной ограды. Старичок весь покрыт инеем и от этого кажется колючим. Он снимает очки, протирает их и подслеповато смотрит на худого краснофлотца. Тот перестает играть, встает, берет винтовку.

— Странные вещи я вижу в этой квартире, — говорит старичок.—Весьма странные! Как вы сюда попали, молодые люди?

— Да вот девочка у вас ослабла, — говорит ко-

ренастый. — Упала на улице. Привели ее к вам, товарищ Карпов.

— А я вовсе не Карпов, — отвечает старичок.— Я его сосед, архитектор. За Варюшу вам спасибо. Она хорошая, наша Варюша. — Старичок поворачивается к худому краснофлотцу. — Превосходно играете, молодой человек. Вы, можно сказать, виртуоз.

— Как умеем, — смущенно бормочет худой.

— Да! — вздыхает старичок. — В старые времена войска шли в бой под музыку. В этом был смысл. Как вы думаете?

— Еще бы, — соглашается худой.

— Теперь это, конечно, невозможно. А жаль.

— Музыка бойца над землей подымает, — говорит коренастый. — Эх, как ударит оркестр! Да что говорить. Пошли, Серега!

— Пошли!

Коренастый достает из сумки краюху хлеба и незаметно кладет ее на диван рядом с девочкой. Девочка сидит не двигаясь. Кажется, что она дремлет.

Краснофлотцы идут к дверям. В дверях коренастый оборачивается и говорит:

— Странные вещи я вижу в этой квартире. Весьма странные.

— Какие? — испуганно спрашивает старичок.

— Вот эти. — Коренастый стучит прикладом по куску разбитой ограды.

— Что же тут странного? — спрашивает старичок. — Разве вы не узнали? Это кусок ограды от нашего собора. Взрывом ее разбило. Вот видите, втащил сюда. У меня вся комната завалена этими обломками. Боюсь, пол не выдержит. Все-таки, знаете, тяжелые штуки.

— А зачем они вам? — спрашивает коренастый.

— Как зачем! Я же вам сказал, что я архитектор. Нигде в мире нет таких чугунных оград, как у нас. Помните? «Твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный...» Я о них книгу написал, об этих оградах. Как же мне не подобрать хоть малую их часть и не сохранить для будущего.

— Чудак! — вполголоса говорит коренастый.

— Для будущего! — повторяет старичок. — Снова подымется Ленинград над Невой во всем блеске. Я верю в это, молодые люди.

— Мы все верим, — отвечает худой.

— Совершенно понятно, — бормочет коренастый.

Краснофлотцы уходят.

— Варюша, — спрашивает старичок. — А где Александр Константинович?

— Пошел к Медному Всаднику. Перекладывать мешки с землей.

— Кипятку выпей, ты совсем слабенькая. Увезти тебя надо.

— Никуда я отсюда не уеду. Никуда. Вы мне про это не говорите, Павел Аркадьевич.

Девочка тихо плачет.

— Ну, не буду, не буду, — бормочет старичок, выходит из комнаты и уносит кусок разбитой ограды. — Ты полежи. Я сейчас приду, напою тебя горячим.

Далекий приближающийся свист. Девочка быстро садится, задевает обе краюхи хлеба. Они падают на пол. Девочка радостно вскрикивает и подымает их. Блеск, тяжелый взрыв. В сумерках за Невой взлетают клубы черного дыма.

— Два хлеба, — шепчет девочка. — Откуда?

Отламывает маленькую корку и прячет ее в карман. Встает, идет к роялю, с трудом подымает крышку и прячет обе краюхи хлеба в рояль.

— Так он найдет их сразу, — говорит она и осторожно опускает крышку.

Входит старичок.

— Опять дальнобойный. — говорит он. — По Васильевскому острову. Иди, Варюша, попьем горячего.

Девочка возвращается к дивану. Старик наливает кипяток в большие чашки.

— Хлеб я свой, Варюша, еще в булочной съел, не удержался, — говорит он. — Стар я стал. Сила воли, конечно, не та.

Девочка достает из кармана корку хлеба и протягивает ее старику:

— Вот, Павел Аркадьевич.

— А тебе?

— У меня тоже есть корочка.

— Корочка, корочка, — сердито бормочет старик и прихлебывает кипяток. — Небось, весь свой хлеб тоже съела на улице.

— Съела, Павел Аркадьевич.

— Тебе простительно. Ты ребенок. Как же тебе удержаться! Небось и Александра Константиновича хлеб тоже отщипнула.

Девочка молчит.

— Ну-ну, не сердись, — бормочет старичок. — Это я пошутил. Ты у нас хорошая, Варюша, не сердись. А у Александра Константиновича грех хотя бы одну крупинку отнять.

— Я знаю.

— Ничего ты не знаешь. Ты еще маленькая. Ты этих вещей не понимаешь. Он симфонию пишет. Об осажденном Ленинграде. Эту симфонию, милая, надо играть на всех кораблях, во всех частях перед боем.

— Я знаю... Я каждую ночь слушаю, как он играет.

— То-то, — говорит старичок.—Вся наша ярость, вся сила и гордость — в этой симфонии. И как пишет! В темноте, в ледяной этой комнате, пожевывая корку хлеба, запивая кипятком. Вот учись, как надо быть сильной, Варюша.

— Я знаю, — тихо повторяет девочка. — Скажите, Павел Аркадьевич, а то, о чем пишут в сказках, бывает в жизни или нет?

— Смотря что.

— Ну вот, может сам собой появиться в этой комнате хлеб? Как в «Синей птице»?

— Отчего же, — говорит старичок. — Пожалуй, и может. Я семьдесят лет прожил, Варюша. Теперь я всему могу поверить.

* * *

Ночь. Шторы на окнах опущены. Горит коптилка. Девочка спит на диване, укрытая шубой и платком. Глухие взрывы. От них пламя коптилки каждый раз вздрагивает и вот-вот погаснет.

В комнату входит Карпов — пожилой человек с утомленным лицом. Разматывает шарф, снимает шапку. Видны его седеющие волосы. Карпов присаживается к печке, растапливает ее книгами, тихо говорит:

— Всю свою библиотеку сожгла, глупая.

Встает, подходит к роялю, открывает крышку, садится и на мгновение задумывается. Начинает играть. Ударяет по клавишам, но рояль молчит. Вместо звона струн слышен только глухой и неприятный стук. Карпов встает.

— Так я и знал. От этого проклятого холода лопнули струны.

Заглядывает внутрь рояля, хмурится и достает хлеб. С недоумением смотрит.

— Как много, — говорит он, отламывает кусок хлеба и начинает есть. — Чудесный хлеб. Кто же

положил его сюда? Странные вещи творятся в этой квартире. Ты спишь, Варя?

Девочка не отвечает.

— Кто же мог его сюда положить!

Карпов съедает хлеб, гасит коптилку и подымает штору на одном из окон. Снежная ночь заполняет комнату тусклым блеском. Видны далекие, призрачные громады зданий, зарево над Невой. Карпов стоит у окна, смотрит, потом поворачивается, садится за рояль и начинает тихо играть.

Варя подымается и слушает.

Торжественные и печальные звуки наполняют дом. В открытой, поднятой наискось крышке рояля вспыхивает и гаснет тусклый блеск. Доносится глухой раскат. Снова блеск и раскат. Карпов играет. Внезапно вся крышка, вся ее черная полированная глубина вспыхивает ярким огнем и резкий гром сотрясает комнату. Это бьет с Невы военный корабль. За окнами видны быстрые вспышки его орудий. Бой разгорается. Но Карпов не перестает играть. Чем сильнее грохот боя, тем все более торжественно и гневно звучит музыка.

Варя встает, садится на корточки у печки, осторожно подбрасывает в огонь книги и слушает. Дверь отворяется. Входит старичок-архитектор. Он на цыпочках подходит к печке, стоит и слушает. Бой затихает.

— Вот учись, как надо быть сильной, Варюша, — бормочет старик.

Карпов перестает играть, оглядывается, спрашивает:

— Кто положил хлеб в рояль?

— Не знаю, — тихо отвечает девочка.

* * *

У подъезда, около парадной двери с выбитыми стеклами, останавливаются два краснофлотца—худой и коренастый.

Ночь. Еще слышны отзвуки боя, отдаленный гул самолетов.

— Погоди, Саша. — Худой берет коренастого за рукав. — Слышишь?

— Как будто слышу.

Слышны отдаленные звуки рояля.

— Вот, Серега, — говорит коренастый. — За это я люблю Ленинград.

— За что, Саша?

— Стужа, бой, темнота, а бьется в нем сердце. И, как я понимаю, будет биться с каждым часом все крепче. Вот, слышишь, рояль...

Краснофлотцы слушают.

— Через полчаса, — говорит коренастый, — наш отряд пойдет с корабля в окопы. За Лигово. Пойдут наши беззаветные ребята. Жалко мне их, Серега.

— А ты жалость держи поглубже за пазухой. После войны мы о ней вспомним, браток.

— Эх ты, а еще лабух! Жалко, что уйдут они в

бой в тишине. Им бы музыку эту послушать. Закипело бы сердце.

— Вот ты о чем, — улыбается худой. — Это, действительно, жалко. И сердце, действительно, закипело бы у ребят.

— Будут они проходить здесь под окнами — и ничего не услышат.

Коренастый берет за рукав худого и тихо говорит:

— Есть у меня одна нахальная мысль, Серега.

Что-то шепчет худому. Худой смеется. Коренастый вытаскивает из кармана шинели банку консервов, показывает ее худому:

— С этим и пойдем. А то, понимаешь, неловко...

Краснофлотцы входят в подъезд.

* * *

Карпов играет очень тихо. Стук в дверь. Карпов перестает играть. Старичок встает. Варя испуганно смотрит на дверь.

— Вот! — говорит старичок. — Патруль. Дождались. Говорил я, что свет от этой печки виден с улицы. Говорил.

Старичок идет в переднюю. Слышен топот ног, смущенные голоса. Старичок с торжеством распахивает дверь.

— Пожалуйте, молодые люди. Александр Константинович здесь.

Входят краснофлотцы, жмутся у порога. Коренастый держит в руке банку консервов.

— Вот, — говорит он, — ваша девочка, понятно, ослабла... так вот... Мы сменились, время у нас теперь есть.

Карпов с удивлением смотрит на краснофлотцев.

— Что ты бубнишь! — Худой толкает коренастого в спину. — Говори толком.

— Так вот, — говорит коренастый. — Примите баночку. Это лососина.

Подходит к девочке и подает ей банку с консервами. Варя растерянно берет ее.

— Вы уже здесь были? — спрашивает Карпов.

— Были, — отвечает коренастый. — Вот она, — показывает на Варю, — упала на улице. Мы ее привели. Можно сказать, давно знакомы.

— Ага! — говорит Карпов. — То-то я нашел в рояле матросский хлеб.

— Странные вещи я вижу в этой квартире, — бормочет старичок. — Весьма странные.

Варя опускает голову и теребит бахрому платка.

— В рояль я его не клал, — говорит коренастый, — а положил на диван. Это верно. Скрывать не буду.

— Варюша! — говорит Карпов. — Значит, это ты, милая?

Варя опускает голову.

Карпов делает движение к ней, но коренастый говорит:

— У нас к вам срочное дело, товарищ Карпов. Конечно, оно как-то не очень соответствует уставу, но, надо думать, нам за это не попадет.

— А что такое?

Коренастый подходит к Карпову и что-то шепчет ему. Карпов улыбается и кивает головой.

— Закутайся, Варюша! — говорит он, быстро подходит к окну и сильным рывком распахивает его. Летит снежная пыль.

— Александр Константинович! — кричит старичок плачущим голосом. — Вы с ума сошли!

— Ничего, папаша, не пугайтесь, — успокаивает его коренастый.—Мы печку потом так натопим, что чертям будет тошно. Тут, понимаете, такое дело...

— Важное дело, — добавляет худой.

Карпов садится за рояль. Варя, закутавшись в платок, стоит среди комнаты и испуганно смотрит на Карпова. С улицы доносится мерный шаг отряда. Отряд приближается. Карпов ударяет по клавишам, и торжественный, грозный марш гремит в комнате. За окном на улице слышна команда:

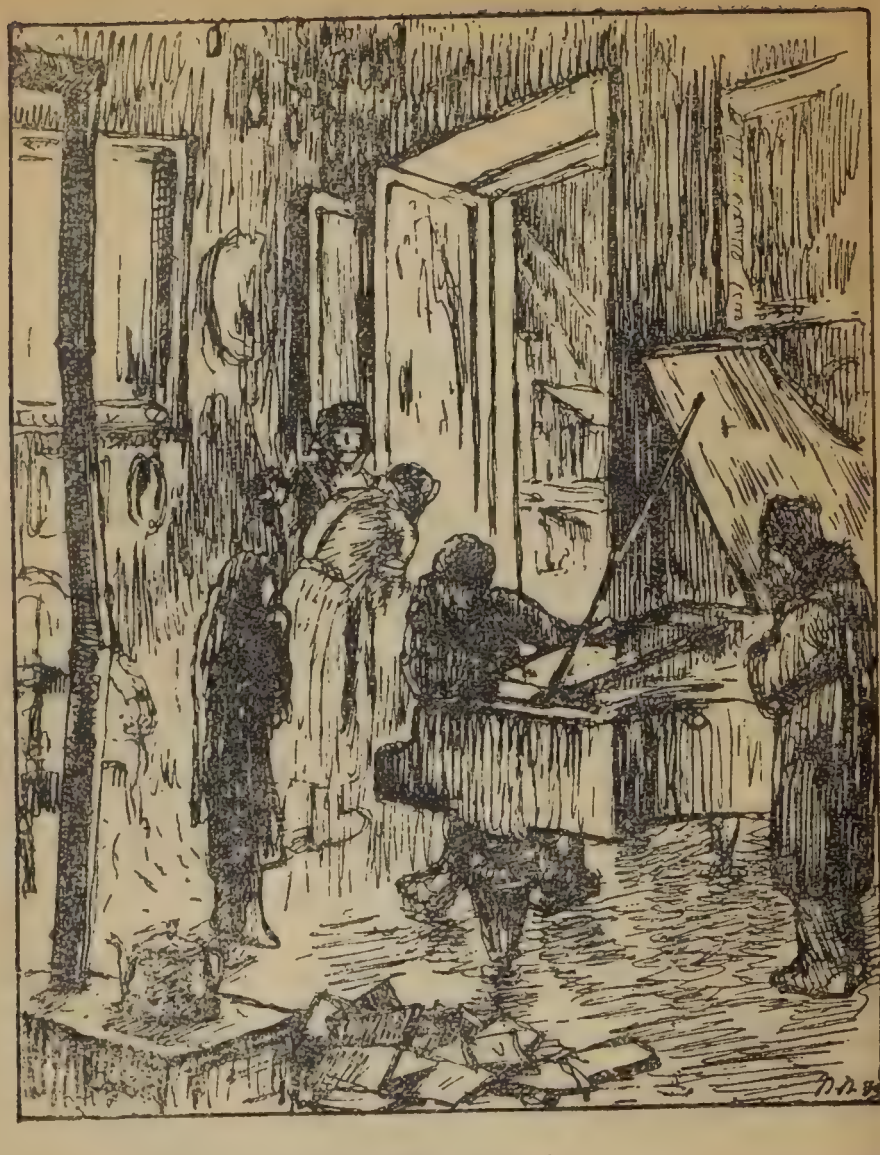
— Тише шаг!

Краснофлотцы переглядываются и улыбаются. Они стоят у окна так, чтобы их не было видно с улицы, и заглядывают вниз.

— Сразу встрепенулись ребята, — тихо говорит худой.

— Идут как по воздуху, шага не слышно, — отвечает коренастый.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ БИБЛИОТЕКА



Отряд идет. Проходит. Гремит ликующая музыка. Молодой голос кричит за окном:

— От балтийцев — спасибо!

— Ура! — негромко и стройно кричат на улице проходящие краснофлотцы.

Карпов перестает играть. Встает и подходит к окну. Смотрит вслед удаляющемуся отряду.

— Спасибо, товарищ Карпов, — говорит худой.— За них спасибо. Мы сейчас выскочим на улицу, проводим товарищей и вернемся еще на минутку. Можно?

— Конечно, можно.

Краснофлотцы быстро уходят. Шаги отряда стихают. Карпов закрывает окно, старичок разводит в печке огонь.

Карпов подходит к Варе, подымает ее голову и смотрит в глаза. У девочки на глазах слезы.

— То-то, — говорит Карпов, — я нахожу каждый день то хлеб в рояле, то кусочки сахара в кармане пальто. Это ты, Варюша?

Девочка молчит.

— А сама падаешь на улицах, глупая ты моя, — говорит Карпов, притягивает к себе девочку и гладит ее по голове. — Не смей больше делать это. Слышишь?

— Александр Константинович, — тихо говорит Варя и виновато взглядывает на Карпова, — я же знаю, что женщины легче переносят голод. И мне не так трудно, как вам. Вы большой.

Варя прячет голову на груди у Карпова.

— Вот тебе и сказка, — говорит старичок. — Хлеб сам залезает в рояль, сахар — в карман. Одно только я вам скажу, Александр Константинович: не придумали еще, к сожалению, ордена для таких вот девочек. Не придумали. А надо бы! Красную Звезду ей не дашь. Не по чину. И «Суворова» ей не дашь. Не по возрасту. А вот если бы был орден под названием «Маленькое мужественное сердце» — это было бы, по-моему, в самый раз.

— Да, — говорит Карпов. — Маленькое мужественное сердце.

Смотрит за окно.

— Великий город, наш Ленинград. Как вы думаете, Павел Аркадьевич?

— А чего мне об этом думать, — отвечает старичок. — Я это и так знаю. Вот, Варюша, и научилась ты быть сильной. Потому что город твой — Ленинград. И с каждым днем ты его все больше и больше будешь любить. Мир не знает такого города, как наш. Мир не видел таких страданий, такого мужества, такой любви, Варюша.

— Я знаю, — тихо отвечает девочка.

Она стоит, прижавшись к Карпову. Лучи прожекторов за окнами взлетают в небо. Их отраженный свет падает на город, и он загорается за окном как бы выкованный из серебра.

— Я знаю, — повторяет Варя и, улыбаясь, смотрит за окно.

ДЕРЖИМСЯ, ТОВАРИЩ НАХИМОВ!

рое краснофлотцев возятся около орудия в каземате берегового форта на Северной стороне в Севастополе. В стене каземата — большая брешь, пробитая снарядом. Через брешь по ту сторону бухты виден дымящийся город — нагромождение развалин, портиков, горы битой черепицы. Город освещен угрюмым закатом.

Слышен сухой и частый треск автоматов. Один из краснофлотцев, Богуш, высокий и хмурый, наводит орудие.

— Темнят, черти, — говорит он. — Ну и темнят! Наседают от Братского кладбища, а шумят от Бельбека. Только мы тоже не из гнилого паруса сшиты. Понимаем что к чему. Огонь!

Орудие стреляет. Автоматная стрельба затихает.

— В самый храп! — говорит вертлявый черный краснофлотец Ставриди.

В каземат вползает краснофлотец Голиков — маленький, весь белый от известковой пыли.

— Чуть вы мне головы не отхлопали, черти! — говорит он. — Чудно́ как-то стреляете!

— Эх ты! — укоризненно замечает Богуш. — А еще наблюдатель! Видишь, что бьем прямой на-

водкой, так и вертись около нас аккуратно. Что у тебя, Петя?

— Да что, Вася, — отвечает, вздыхая, Голиков.— Все то же. Одни мы остались на Северной стороне. Снарядов надолго хватит?

— До ночи продержимся.

— Ночью катер проскочит с Корабельной, может, выручит, — неуверенно говорит краснофлотец Гаврилов, светловолосый юноша со спокойным лицом.

— А ты помолчи, друг дорогой, — сурово обрывает его Богуш. — Ты про катер забудь навеки.

— Не проскочит катер, — говорит Ставриди. — Вся камбала в бухте подохла от бомб, а ты говоришь — катер!

— Нет приказания отходить и связи нету, значит, будем драться до смерти, — говорит Богуш. — И точка!

Внезапный ожесточенный треск пулемета. Краснофлотцы бросаются к орудию.

— По воде бьют! — кричит Голиков. — Плывет кто-то!

— Ныряет! — кричит Ставриди. — Знаменито машет кролем! Видно, наш, с минной бригады.

— Брасом работает, — замечает Гаврилов.

— Кролем, я тебе говорю. Не морочь мне голову!

— Похоже, что к нам плывет, — озабоченно бормочет Богуш. — Откуда только бьет немецкий пулеметчик? А ну, Голиков. Определи.

Голиков всматривается.

— Вон из-за той хибарки с синими ставнями.

— К орудию! — командует Богуш. Краснофлотцы становятся к орудию. Подают снаряды. Богуш наводит. «Огонь!» Выстрел. Взрыв поблизости. Пулеметы замолкают.

— В самый лоб! — говорит Ставриди. — Теперь, по крайней мере, человек доплывет спокойно.

* * *

Смущенные краснофлотцы смотрят на худенькую девушку. Она сидит на ящике с патронами и выжимает мокрые волосы. Легкое летнее платье прилипает к ее телу.

— Гребешок дай!—грозным шопотом говорит Богуш Гаврилову и толкает его в спину. Гаврилов судорожно ищет в кармане гребешок, но не может найти.

— Пентюх ты, а не сигнальщик с «Красного Кавказа», — сердито бормочет Ставриди.

Гаврилов, наконец, находит сломанный гребешок, вытирает его о брюки и подает девушке. Она начинает расчесывать густые длинные волосы.

— Как же это вы переплыли? — спрашивает Голиков.

— Вот так и переплыла, — отвечает девушка и улыбается.—Вода трещала от пуль, очень было неприятно. Я в прошлом году взяла первое место на состязаниях в Балаклаве.

— Так это вы Маруся Черненко?

— Да, я.

— А ты что ж, не узнал, рыбий глаз! — тихо говорит Гаврилов.

— Вот это да! — Ставриди сдвигает бескозырку на лоб. — Вот это так!

— Вызвали охотников доплыть к вам и передать приказ. А кому же плыть, как не мне. Я и поплыла.

Девушка берет маленький резиновый мешок, достает из него пакет и газету и протягивает Богушу.

— Спасибо, — говорит Богуш, вскрывает пакет, достает из него приказ и читает. — Приказ ясный, товарищи. — Богуш показывает краснофлотцам размокшую бумажку. — Додержаться до последнего часа, взорвать форт и уходить.

— Как уходить? Через бухту? — спрашивает Гаврилов.

— Да, через бухту. Вплавь. Мы не архангелы, мы пока что по воздуху не летаем.

— А вы когда назад поплывете? — спрашивает Ставриди Марусю.

— С вами и поплыву.

— Вот это да!

— Взорвать форт и уходить! — повторяет Богуш.

Краснофлотцы молчат. Богуш осторожно развертывает мокрую газету «Черноморец» и кладет ее на ствол орудия. От газеты идет густой пар.

— Ну что? — спрашивает Богуш и приглаживает газету рукой. — Что молчите, альбатросы, скитальцы морей? Думаете, мне самому весело по-

кидать нашу Северную сторону? Но я так думаю: только те морячки, которые будут мертвые, не вернутся в свой Севастополь. А которые живые — вернутся. Об этом и здесь вот написано, в этой газете.

— Смотри, газету сожжешь,—замечает Голиков.

— Орудие у нас, извините, раскалилось, — говорит Богуш Марусе. — Сейчас, надо думать, по случаю вашего прихода, немцы молчат, пришипились. Эх, какие слова человек написал про Севастополь!

— Какой человек?

— Эренбург. Писатель.

— Сами знаем, что писатель, — говорит Голиков. — Читай, пока фрицы не вскинулись.

— «Герои Севастополя пройдут по освобожденной земле, — читает Богуш. — Для них расцветут все цветы, для них будут все восхищенные взгляды, все сердечные объятия». Слыхали? «Именем Севастополя будут названы широкие улицы наших городов. А фрицы и вшивые румыны, которые осмелились посягнуть на честь Севастополя, узнают меру русского гнева. Сто лет они будут суеверно дрожать, услышав имя «Севастополь».

— Сто лет, — повторяет Ставриди. — Какие сто, тысячу лет!

Далекий вой сирены. Рев самолетов. В сгустившихся сумерках сотнями медленных дуг пролетают трассирующие пули. Беспрерывные вспышки на

земле и на небе. Грохот взрывов. Краснофлотцы бьют по самолетам из зенитного пулемета и винтовок. Маруся тоже хватает винтовку, ложится у бреши и стреляет.

Вой бомбы. Лежащий у пулемета Гаврилов, не переставая стрелять, пригибает одной рукой голову Маруси к земле. Взрыв. Осколки бьют в камни форта, подымая пыль.

Стрельба затихает. Над городом разгорается зарево. Краснофлотцы вытирают вспотевшие лбы. Голиков показывает Марусе свою винтовку. Деревянное ложе около ствола обуглено.

— Горит винтовка, — говорит он. — Обуглилась. Я из нее немцев бью по особому счету.

— Какой же это счет?

— Счет простой. Мой папаша, правду сказать, робкий такой старикан, городским садовником был в Севастополе. Я мальчишкой ему помогал. И потому я каждый тополь в городе знаю. И так я теперь положил: за каждое разбитое дерево по одному немцу.

— Сколько же немцев? — спрашивает Маруся.

— Пока сто сорок. Счет свой я проверю после войны. У меня есть своя мечта. Пройду я по всем улицам, по переулкам, загляну во все дворы и посчитаю, сколько они, гады, поубивали деревьев. Наш крымский тополь — высокий, в его ветках теплый воздух дрожит и морской ветер листьями играет. Сочту и узнаю — недобор у меня или нет.

Свист. Взрыв снаряда. Жестокий пулеметный огонь.

— К бою! — командует Богуш. — Опять будут нас штурмовать!

Форт начинает яростно отвечать на огонь из одного орудия и пулеметов.

Слышны крики немцев. Огромное зарево и вспышки взрывов освещают сосредоточенные лица краснофлотцев. Слышны их короткие возгласы: «Справа заходят», «Живо работай», «Прямая наводка свое берет», «Ниже, бей ниже!»

Внезапный веский и гулкий гром перекрывает все звуки. Форт вздрагивает до основания. Крики немцев смолкают. Снова торжественный гром. Краснофлотцы перестают стрелять, потом один за другим начинают снимать бескозырки и прислушиваются.

— Что это? — спрашивает Маруся.

Краснофлотцы не отзечают. Они слушают и улыбаются.

— Что это? — снова спрашивает Маруся.

— Флот, — отвечает Богуш. — Наши корабли бьют с моря.

— Бортовой залп, — говорит Ставриди.

— Эх, корабли, — вздыхает Голиков. — Дороже они сердцу отцовского дома.

— Теперь можно и закурить, — замечает Богуш.

Краснофлотцы закуривают.

— И что это за город такой чудесный, — гово-

рит Голиков. — И дым, и пожары, и взрывы, а все равно акацией пахнет.

— Весна, — шепчет Маруся.

— Наша весна как зацветет над морем, — говорит Гаврилов,—так на сотню миль дышит акацией.

* * *

Ночь. Тишина. Далеко взлетают медленные яркие ракеты.

— Тихо, — говорит Богуш. — К рассвету немцы навалятся, не иначе. Чья очередь спать?

— Гаврилова, — отвечает Ставриди.

— Вот ты бы, Петя, и поспал каких-нибудь сто двадцать минут. Все-таки двое суток не спал. А то скиснешь.

— Да нет, мне не хочется, — смущенно возражает Гаврилов. — Я так посижу.

— Ложитесь, — говорит Маруся.—Обязательно!

— Да нет, не стоит.

Маруся крепко и ласково берет Гаврилова за плечи и заставляет лечь. Кладет его голову себе на колени.

— Ну как, хорошо? — спрашивает она.

Гаврилов не отвечает.

— Готов! — говорит Ставриди. — Спит! На войне долго засыпать не полагается.

— Нет хуже, чем спать на войне, — говорит вполголоса Богуш. — Обязательно увидишь зеленую какую-то калитку и сад за ней: и стоишь ты у

той калитки, как дурак, и боишься ее открыть. А за ней в саду — милый голос слышишь, женский голос. И сердце колотится, как птица, и хочется крикнуть: «Вот, я живой. Я здесь. Я через ад прошел, чтобы спасти твое счастье!» А на поверку выходит, что мина около тебя рванула. Эх, да что говорить!

— Нет труднее этих снов! — соглашается Гоголиков. — А военные сны нам не снятся.

Маруся снимает с Гаврилова бескозырку и осторожно гладит его светлые волосы.

Краснофлотцы сидят в оцепенении. Гаврилов подымается. Медленный яркий свет заполняет каземат. Где-то томительно звенят трубы горнистов. Бьют барабаны. Потом слышны голоса и шаги.

— Где же они, мои матросы? — спрашивает чей-то хрипловатый голос.

Гаврилов садится. Оглядывается. Маруся и краснофлотцы сидят неподвижно. Вдруг Гаврилов вскакивает и вытягивается. Через брешь в каземат входит низенький худой адмирал с седыми висками. На адмирале — расстегнутый черный сюртук с эполетами. На голове его — мятая морская фуражка. За адмиралом входит несколько морских офицеров времен севастопольской обороны 1854 года.

— Встать, смирно! — кричит Гаврилов.

Краснофлотцы вскакивают и вытягиваются. Маруся встает. Адмирал весело обводит всех серыми глазами.

— Держитесь, севастопольцы? — спрашивает он негромко.

— Держимся, товарищ Нахимов! — дружно отвечают краснофлотцы.

— Спасибо! — говорит адмирал.

— Служим народу! — отвечают все краснофлотцы.

— Каковы! — говорит адмирал и оборачивается к офицерам. — Вы посмотрите на них — каковы!

— Чудо-матросы, Павел Степанович, — отвечает один из офицеров.

— А теперь послушайте, братцы, — говорит адмирал, — что вам скажет старый ваш адмирал. Каждый севастопольский камень был полит русской кровью. И потому так цвела эта земля и так любил ее весь наш народ.

Адмирал наклоняется, берет с пола горсть земли и протягивает ее краснофлотцам на ладони.

— Защищайте же каждую крупицу этой земли. У кого сердце не дрожало от гордости, когда он слышал великое слово «Севастополь»! Черное море за нашей спиной. На нем родилась наша слава. Над ним шумел наш андреевский флаг. По его волнам мы уходили в далекие страны, и гром наших ядер сотрясал вражеские берега и сердца тех, кто покушался на честь и на счастье отечества. Кто из вас старший?

— Я, — отвечает Гаврилов.

— Подойди!

Гаврилов подходит к адмиралу. Адмирал снимает с себя маленький серебряный крест на полосатой ленточке и прикалывает его к бушлату Гаврилова. Потом обнимает и целует Гаврилова и всех краснофлотцев. Замечает Марусю.

— Это кто? — спрашивает он Гаврилова.

— Моя невеста, товарищ Нахимов.

— Русские девушки! — говорит Нахимов и целует в лоб Марусю.—Героини! Наша душа! Наше счастье!

Далеко играют горнисты. Адмирал отступает. Звон труб превращается в приближающийся свист снаряда.

Гаврилов подымает голову — он лежит на коленях у Маруси.

— К бою! — кричит Богуш.

Все вскакивают и бросаются на свои места.

— К бою! Огонь!

Разгорается тяжелый бой. Лучи прожекторов носятся по небу. Непрерывные взрывы.

В дыму и грохоте боя Гаврилов смеясь кричит:

— Держимся, товарищ Нахимов!

— Чего? — кричит ему Богуш.

— Ничего, — отвечает Гаврилов. — Сон мне один приснился.

* * *

Каземат полуразрушен. Орудие подбито и молчит. Краснофлотцы отстреливаются из винтовок, бросают гранаты. Все в дыму и в пыли. На полу

лежит тяжело раненный в голову Гаврилов. Маруся торопливо перевязывает его.

— Густо идут! — кричит Голиков и перестает стрелять. — Последний патрон я выпустил, Вася!

Слышны вопли немцев, идущих в атаку.

— Ставриди! — раздается голос Богуша. — Давай к пулемету остатнюю ленту. Заветную.

Ставриди подает ленту. Богуш бьет из пулемета и во время коротких остановок отрывисто командует:

— Немедленно... трое на берег... Плывите... я останусь с Гавриловым...

— Ты плыви, а я останусь! — кричит Голиков.

— Куда тебе, я останусь! — кричит Ставриди.

— Выполняйте приказ! Я последними патронами держу проход к берегу... Живо, по-флотски!

— Ну, прощайте! — Гаврилов притягивает к себе Марусю и смотрит в ее глаза. — Я вас давно знал. На все состязания ходил, чтобы на вас посмотреть. Полюбил я вас издалека, как невесту. Да вот как пришлось нам встретиться и расстаться. Прощайте!

Маруся наклоняется и целует Гаврилова в губы. Голиков осторожно трогает Марусю за плечо. Он и Ставриди уже сняли бушлаты и тельники и обнажены до пояса.

Краснофлотцы прощаются с Гавриловым. Он показывает глазами на Марусю.

— Будь спокоен, Петя, — говорит Голиков и отворачивается.

— Скорей! — кричит Богуш. — Густо идут!

Двое краснофлотцев и Маруся ползут к бреши. Гаврилов с трудом приподымается и смотрит им вслед.

— Прощай, Петя! — на ходу говорит Ставриди. — Что передать Севастополю?

— Привет кораблям! — отвечает Гаврилов. — А нас похороните под старым нахимовским флагом. Сон мне такой приснился...

Маруся в последнюю минуту оглядывается и смотрит на Гаврилова глазами, полными слез. Гаврилов улыбается ей.

В каземате остаются только Богуш и Гаврилов. Богуш пристально всматривается в синеющую от рассвета, покрытую дымом землю и ожесточенно отбивается из пулемета. Пулемет замолкает.

— Что, Вася? — спрашивает Гаврилов.

— Амба! Последний патрон. Пять гранат всего осталось — для взрыва.

— Вася, — говорит Гаврилов — плыви и ты, голубчик. У меня силы хватит рвануть этот форт. А, Вася?

— Помолчи, друг дорогой, — отвечает Богуш и торопливо связывает проволокой гранаты.

— Все равно мне смерть, Вася, — шепчет Гаврилов. — Весь пол я кровью залил. Плыви, Вася!

— Я старший, — говорит Богуш. — Командир всегда с корабля уходит последним.

— Так ты же последний, — отвечает Гаврилов.—

Я не в счет. Я все равно что мертвый, Вася. Спасти меня невозможно. Пальцем нельзя тронуть. Плыви!

— Не взорвешь ты форт, ослаб ты очень!

Гаврилов подымается и кричит яростным голосом:

— Плыви, немедленно! Давай сюда гранаты!

Богуш пристально смотрит на Гаврилова.

— Вон ты какой! — говорит он с изумлением. — Видать, не из гнилого паруса сшитый.

— Немцы подходят! Давай гранаты. Снаряды в том углу!

— Да. И тол. А если у тебя силы нехватит?

— Давай гранаты!

Богуш решается. Он отдает Гаврилову связку гранат, целует его и ползет к выходу. Поворачивается, глухо говорит:

— Настоящий ты сын черноморский. Ну, счастливо!

Уползает. Слышны гортанные крики немцев.

Над бухтой занимается рассвет.

* * *

В каземат врываются немцы. Гаврилов сидит, закрыв глаза, прислонившись к стене.

Немцы останавливаются, держат наготове автоматы. Гаврилов не двигается и как будто не дышит.

— Черный дьявол! — говорит по-немецки солдат.

— Он мертвый.

В каземат входят два немецких офицера. Солдаты расступаются. Офицеры молча смотрят на Гаврилова

— О-о-о! — говорит седой офицер. — Один русский матрос! — Офицер обводит каземат глазами. — Где другие?

Солдаты молчат. Неожиданно Гаврилов открывает глаза. Немцы вздрагивают, подымают автоматы. Седой офицер сжимает револьвер.

— Матрос? — спрашивает он на ломанном русском языке.

— Сам видишь, матрос.

— Где другие матросы?

— Не было других, — отвечает Гаврилов и смеется.—Не было! Я один вас держал трое суток.

— Какой части? — спрашивает офицер.

— Части адмирала Нахимова, — отвечает Гаврилов. — А ну, фрицы, посторонись!

Гаврилов стремительным движением хватает с пола, из-под своего бушлата, связку гранат и швыряет ее в угол каземата, где лежат снаряды. Блеск. Взрыв.

* * *

Дым рассеивается. Форт разрушен. Валяются убитые немцы. На груде камней лежит бескозырка с надписью «Красный Кавказ». Огромное солнце в дыму и тумане подымается над бухтой.

Жаворонок садится на бескозырку, начинает тихо посвистывать.

Ветер треплет ленты бескозырки. Жаворонок улетает.

ТОМИК ПУШКИНА

На выступе дома, под венецианским окном, пожилой букинист разложил свои книги и гравюры, изображающие старинные корабли и седых адмиралов.

Окно закрыто. Ветер перелистывает страницы книг. Тени от акаций перебегают по тротуару.

Букинист сидит на табурете и, надев очки, читает толстую растрепанную книгу.

К букинисту подходит низенький усатый старик — дядя Федя. Он в матросском тельнике под рваным пиджаком. Через плечо у него перекинута на ремне винтовка. Дядя Федя держит двумя руками кепку, наполненную чем-то тяжелым.

— Вот! — говорит он и встряхивает кепку. — Угощайся, Степа. Сладкая одесская абрикоса.

Букинист засовывает руку в кепку и отдергивает ее. Дядя Федя смеется и высыпает из кепки к ногам букиниста кучу острых осколков.

— Имеешь богатый выбор, Степа, — говорит он. — Тут и наши, и немецкие, и румынские. А то, я замечаю, свежак задул с моря и покалечит все твои книги. Только, будь другом, положи на Пушкина осколок нашего зенитного снаряда. А на дру-

гие книги вали, что хочешь, потому до других книг я равнодушный.

— Дурень ты, Федя, — говорит букинист и начинает класть осколки на раскрытые книги. Ветер тотчас перестает переворачивать страницы. — Хоть ты и тертый боцман и помнишь восстание на «Потемкине», а все равно — дурень.

Дядя Федя не успевает ответить. Вой сирен. Удары зениток. Букинист и дядя Федя прижимаются к стене и смотрят вверх. С тяжелым гулом идут немецкие самолеты.

Венецианское окно распахивается. В нем появляется обрюзгший небритый старик. Рубаха у него расстегнута, подтяжки висят сзади. Старик высовывается из окна, сердито смотрит на самолеты и говорит сварливым голосом:

— Что? Опять! Каждый час эти босяцкие штуки!

Дядя Федя снимает кепку и почтительно кланяется раздражительному старику:

— Доброго здоровья, товарищ Файнштейн. Как спали?

Свист. Все наклоняются. Взрыв поблизости.

— Не угадал, — говорит дядя Федя. — Целил в будку для зельтерской, а попал, видать, в гальюн на портовом спуске.

— Ты бы помолчал, Федя, — говорит букинист.

— Я сейчас в карауле стоял на Пересыпи, так я шесть часов молчал, как тумба, — отвечает дядя

Федя. — Эх-хе-хе, нету, видать, у вас пациентов, товарищ Файнштейн!

— Какие сейчас пациенты у зубного врача, я вас спрашиваю! — сердится Файнштейн. — Только идиот...

Свист. Все наклоняются. Взрыв.

—... только идиот,—продолжает Файнштейн,—захочет пломбировать зубы при такой ситуации. И какой чудак, говоря мягко, будет покупать при этой же ситуации ваши книги, уважаемый Степан Петрович?

— Ну, нет, — возражает дядя Федя. — Который настоящий боец, тот любимую книгу сбережет до последнего часа.

К книжному развалу подбегает высокая девушка. Ветер треплет ее волосы.

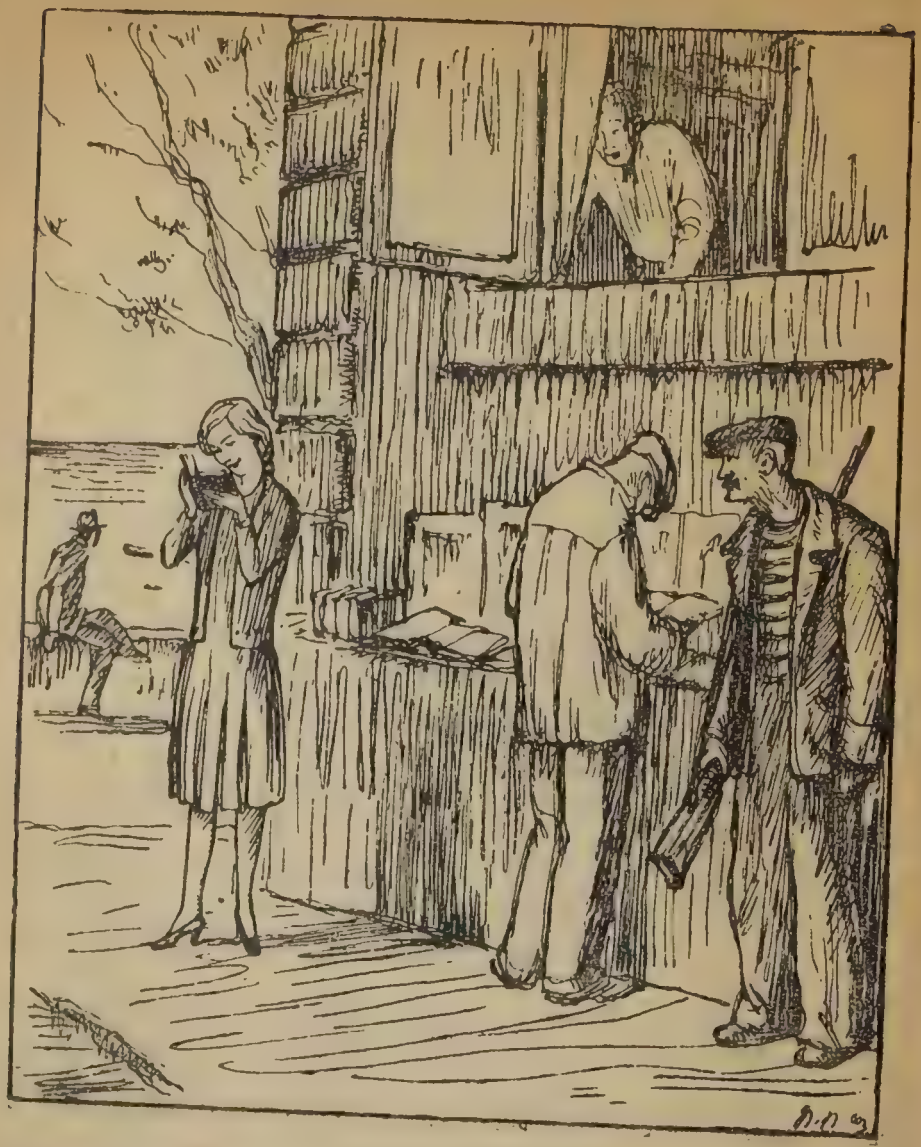
— Здравствуйте, Степан Петрович, — приветливо говорит она букинисту, берет томик Пушкина и начинает торопливо перелистывать его.

Свист. Все наклоняются. Взрыв, но уже отдаленный.

— Страница шестьдесят седьмая! — кричит девушке букинист. — Вы помните? Или вы забыли?

— Помню, — отвечает девушка, находит шестьдесят седьмую страницу и незаметно достает из книги вложенную туда записку. Читает ее застенчиво и радостно.

— Спасибо, Степан Петрович, — говорит она, смутившись до слез. — Я тороплюсь к себе на радио. Прощайте.



Девушка быстро прячет в книгу взамен взятой записки запечатанный конверт и уходит. Оборачивается и говорит умоляющим голосом:

— Только не продайте по ошибке эту книгу, Степан Петрович. Слышите?

— Вы мне уже пять раз об этом говорили, — ворчливо отвечает букинист.

Девушка убегает.

— Ну, дела! — вздыхает дядя Федя. — Теперь, надо думать, в скорости сюда заскочит за этим письмом молодой лейтенант со сторожевого катера. Устроили себе из Пушкина почтовый ящик! А почему? Потому что осада и свидеться им никак не фартит.

— Откуда ты все это знаешь? — спрашивает букинист.

— А ты, своим порядком, знаешь, что такое боцманский глаз? — спрашивает дядя Федя. — И чтоб ему, этому глазу, не увидеть, какая с твоим Пушкиным заварилась история!

— Ты бы помолчал, Федя, — просит букинист.

— В могиле я помолчу.

— И я, знаете, тоже смотрю из окна и кое-что замечаю, — говорит Файнштейн. — У него, я вам скажу, совсем неплохой вкус, у этого молодого лейтенанта.

Файнштейн закрывает окно и задергивает его занавеской.

По тротуару проходят вооруженные краснофлот-

цы в касках, с гранатами у пояса. Двое из них останавливаются около букиниста и рассматривают книги.

— На Фонтане фронт держите? — спрашивает Федя.

— А хотя бы и на Фонтане, — отвечает высокий краснофлотец с дыней в руках.

— На трамвае на фронт ездите?

— Очень свободно, что и на трамвае.

— Удобство, — замечает дядя Федя. — Ни в одном городе бойцы на трамвае в окопы не ездят, только у нас в Одессе. Наш город знаменитый, веселый город. А отвечать ты мне должен без всяких фиглей-миглей, без всяких «хотя». Отвечать должен по форме и с уважением. Ты, видать, морячок, еще серый, а я — бывший боцман сверхсрочной службы Ковальчук.

— Приятно познакомиться.

— Я с Матюшенкой за руку держался, и сам советский адмирал Жуков в случае чего всегда призывает меня к себе и спрашивает: «Ты как, дядя Федя, располагаешь: соответствует это мое мероприятие духу нашего доблестного флота или не очень оно ему соответствует?»

— Ну уж это, конечно, — насмешливо говорит высокий краснофлотец. — Адмирал без вас, как без головы. Это уж точно.

— Эх, ты, — с досадой говорит дядя Федя. — Салага — и есть салага. Если бы не геройство

твое, да не то, что ты, видать, справной боец, сказал бы я тебе крепкое приморское слово.

— А вы скажите, папаша, — с наигранной ласковостью отвечает краснофлотец. — Я не обижусь. Я к старикам имею снисхождение.

— Нужно мне твое снисхождение, как кошке поклон, — сердится дядя Федя.

Пока дядя Федя препирается с высоким краснофлотцем, второй низенький краснофлотец берет с развала томик Пушкина и перелистывает его. Букинист, занятый ссорой, не замечает этого.

— Сколько стоит Пушкин?—спрашивает низенький краснофлотец, но букинист не отвечает.

Дядя Федя и высокий краснофлотец смотрят друг на друга и укоризненно качают головами.

— Эх, ты! Шваброй тебя мало терли.

— Эх, вы, папаша!

К книжному развалу быстро подходит молодой моряк-лейтенант. Файнштейн отодвигает занавеску и смотрит через стекло на лейтенанта.

— Что здесь у вас происходит? — спрашивает лейтенант.

— Да, так... ничего... — уклончиво отвечает дядя Федя. — Разговор про то да про сё. Обыкновенный разговор.

Лейтенант улыбается, ищет на развале какую-то книгу и не находит.

— Я помню, что у вас был томик Пушкина, — смущенно говорит лейтенант, — Неужели продали?

— Не может этого быть! — встревоженно отвечает букинист, встает, роется в книгах и замечает томик Пушкина в руках у краснофлотца. Отбирает у него книжку и строго говорит:

— Эта книга не продажная, молодой человек. Хотите стихи — так возьмите Багрицкого. Тоже был хороший поэт.

— Багрицкого я насквозь знаю, — отвечает краснофлотец. — Эх, все равно, давайте!

Резкий звонок трамвая. Низенький торопливо расплачивается, и оба краснофлотца бегут по тротуару к трамваю.

Дядя Федя бросается вслед за высоким краснофлотцем.

— Стой! — кричит он. — Стой, браток!

Краснофлотец останавливается. Дядя Федя протягивает ему руку.

— Старайся, салажонок, чтобы черноморцы тебя не стыдились. Вертайся здоровый.

Трамвай отходит. На нем гроздьями висят вооруженные люди. Дядя Федя возвращается.

Букинист протягивает лейтенанту томик Пушкина и таинственно говорит:

— Шестьдесят седьмая страница. Самую малость опоздали, товарищ лейтенант.

Лейтенант смущенно кивает, раскрывает книгу и достает конверт. Прячет письмо в карман кителя. Дядя Федя подходит к лейтенанту и просительно снимает шапку.

— Уважьте старого боцмана, товарищ лейтенант.

— А что?

— Возьмите добровольцем на катер. Тридцать лет плавал, засолился, как тарань. Не береговой я, товарищ лейтенант.

— Я поговорю с командиром соединения. Завтра я буду здесь к вечеру и дам вам ответ. Я думаю, что он согласится.

— Рад стараться, товарищ лейтенант.

— Сколько вам лет?

— Шестьдесят, а, может, и все шестьдесят три.

— Многовато, — говорит лейтенант. — Трудно придется, боцман. Завтра мы идем на рискованное дело. От него будет зависеть судьба сотен наших моряков.

— На лиман подадимся? — хитро спрашивает дядя Федя и подмигивает лейтенанту.

— Узнаете.

— Виноват, товарищ лейтенант.

Лейтенант козыряет и уходит.

— За лиманом немцы окружили наших морячков, — таинственно говорит дядя Федя. — Это мне известно. И такая у меня думка, что пойдем мы их выручать. Эх, Степа, давно у меня палуба не качалась под ногами!

Файнштейн открывает окно, высовывается.

— Я, знаете, — говорит он, — удивляюсь на современную молодежь. Книгу за пазуху — и в бой.

Мне это начинает нравиться. И еще я вам скажу: таки-неплохой вкус у этой милой девушки. Что это? Опять?

Нарастающий свист. Файнштейн прячется, захлопывает окно. Тяжелый взрыв. Сыплются стекла. Мимо букиниста бегут санитары со свернутыми носилками.

— Дальнобойный, — говорит дядя Федя. — За углом рванул, гад. Ты бы, Степа, закрыл свою лавочку.

— Что ты, Федя! — пугается букинист. — Сам видишь, иному бойцу книга нужна, как письмо от невесты. А ты говоришь — закрыть. Что ты, Федя!

Дядя Федя не отвечает. Он пятится к стене и стаскивает с головы кепку. Мимо окна санитары проносят носилки. На них лежит светловолосая девушка.

— Она! — говорит дядя Федя, бросается к санитарам и хватает одного из них за руку. — Раненая? — спрашивает он быстрым шопотом.

— Нет, не раненая, — отвечает санитар. — Убитая.

Санитары проходят.

— Убитая, — тихо повторяет дядя Федя и смотрит на букиниста. — Значит, она была здесь поблизости, Степа?

Букинист сидит сгорбившись и не отвечает.

— Степа, ты слышишь, Степа?

Дядя Федя бросает кепку на тротуар.

— Не смотрел бы я ни на это море, ни на это солнце, Степа. Любила, значит, девушка — и нет ее. Как ветром сдуло, Степа.

Букинист судорожно начинает поправлять старенький галстук. Руки у него трясутся.

— А лейтенант? — кричит дядя Федя. — Что же будет с человеком, Степа?

— Ничего я не знаю, Федя, — бормочет букинист и никак не может поправить галстук. — Ты бы немного помолчал.

— Пошли до Файнштейна, — решительно говорит дядя Федя и стучит винтовкой в окно. — Пошли, посоветуемся.

* * *

Комната Файнштейна. Файнштейн сидит на кровати, уставившись в пол. Букинист стоит, сгорбившись, у стола. Дядя Федя ходит по комнате и делает множество движений, выдающих его растерянность, — переворачивает пустой стакан на столе вверх дном, обрывает листья у фикуса, зажигает и гасит спички.

— Плохой выбор у смерти, я вам скажу, — говорит Файнштейн. — Вот сидит старый зубной врач без пациентов. Так осколок летит как раз мимо него и убивает красивую девушку. Вы знаете, на что она была похожа? На ветку с цветами, забрызганную росой. Да. Так сказал один наш одесский писатель о любимой женщине. Только я забыл фа-

милию этого писателя, дай ему бог жить и жить. Он таки-неплохо сказал.

— Что же делать? — спрашивает букинист. — Завтра вечером придет лейтенант, а на странице шестьдесят седьмой будет пусто. Что я ему скажу? Что я ему могу сказать, когда у меня руки трясутся!

— Узнает лейтенант, — говорит дядя Федя, — душа у него ссохнет. Какой с него тогда будет командир? Ослабнуть может человек. — Дядя Федя стучит прикладом о пол. — И пойдет он на рискованное дело с разворошенным сердцем, и, очень свободно, что проиграет он это дело и через то погибнут сотни морячков. Не могу я этого допустить.

— Вы безответственно шумите! — говорит Файнштейн. — Оно так и будет, как вы предсказали. Закон жизни. И вы ничего не сможете сделать.

— Я, прямо сказать, много врал, — тихо говорит дядя Федя. — Отпираться не буду. Понятно, без надобности врал, только для интересу. А теперь пришло время, чтобы соврать мне еще раз для спасения морячков и для доблестной нашей победы.

— И чего вы только хотите?—спрашивает Файнштейн. — Я не понимаю.

— А хочу я, дорогой товарищ Файнштейн, чтобы написали мы письмо от той девушки, как от живой, тому лейтенанту. Письмо про большую ее любовь. И заложили в Пушкина на шестьдесят седьмую страницу. Придет он завтра, прочтет и пойдет в бой со светлым сердцем. И победит безусловно.

А потом судите меня за обман военным трибуналом. Я — весь тут. Я ответ буду нести перед всей Одессой. И оправдает меня трибунал, и лейтенант простит, и она бы простила, если бы могла про это знать. Сказала бы: «Спасибо вам за это, дядя Федя».

Голос дяди Феди дрожит.

— А знаете, — говорит Файнштейн,—вы-таки молодец, товарищ Ковальчук.

— Совсем ты не дурень, Федор, — соглашается букинист.

— Так давайте писать. Берите ручку, бумагу.

— Ой, трудное дело! — вздыхает Файнштейн. — Что я могу написать про любовь, когда я всю жизнь возился с кариозными зубами. Лучше взять книгу с полки, потому что в каждой книге есть про любовь, и списать оттуда.

Файнштейн подходит к полке, берет книгу, пробегает несколько страниц.

— Вот! Это будет как раз. Диктуйте мне, Степан Петрович.

Файнштейн дает книгу букинисту, отчеркивает ногтем нужное место и садится за стол.

Букинист диктует:

— «Я думаю о тебе с такой огромной нежностью и любовью, что у меня замирает сердце. Будь спокоен. Если найдется время, то взгляни завтра в полдень на облака над морем и подумай, что я тоже в эту минуту смотрю на них, и, может быть, тебе станет хорошо от сознания, что наши взгляды

встретились, хотя мы далеко друг от друга. Прощай, родной мой».

— Вот! — говорит букинист.

— Как ее звали? — спрашивает Файнштейн.

— Не знаю, — отвечает букинист. — Не надо подписи. Она же могла забыть подписаться.

* * *

Сумерки. Сгорбившийся букинист сидит на табурете. В комнате, у окна, облокотившись на подоконник, стоит Файнштейн. Дядя Федя чистит винтовку. К книжному развалу подходит мальчик с двумя лопатами, жадно смотрит на гравюры кораблей.

— Нравится? — спрашивает дядя Федя.

— Нравится, — шопотом отвечает мальчик.

— Купить не осилишь?

— Не осилю, — также шопотом отвечает мальчик.

— А куда же это ты, пацанчик, топаешь с двумя лопатами?

— На Ближние Мельницы. Рыть окопы.

Мальчик не отрываясь смотрит на одну из гравюр. На ней изображен красавец линейный корабль с андреевским флагом. Корабль идет на всех парусах по штормовому морю. Букинист берет гравюру, протягивает мальчику.

— На, бери. За лопату.

— А зачем вам лопата? Вы же старенький.

— Я тоже буду копать этой ночью рвы против танков. Бери.

Мальчик хватает гравюру, оставляет одну из лопат и, прижав гравюру к груди, убегает.

Внезапно Файнштейн отшатывается и захлопывает окно. Букинист делает вид, будто он что-то потерял, и шарит руками по земле около своего табурета. Дядя Федя встает. К книжному развалу подходит лейтенант.

— Пойдете со мной на корабль, — говорит он дяде Феде. — Командир соединения согласен.

— Покорнейше благодарю, товарищ лейтенант!— хрипло отвечает дядя Федя.

Лейтенант подходит к книгам, берет томик Пушкина, раскрывает его, достает записку, отходит в сторону и разворачивает ее. Букинист втягивает голову в плечи. Файнштейн отходит от окна в глубину комнаты. Дядя Федя пристально следит за лейтенантом.

— Как быстро темнеет, — говорит про себя лейтенант и оглядывается.

Вой сирены. Гул самолетов. В густом сумраке, усиленном тенью акаций, загорается ослепительная ракета, сброшенная с немецкого самолета. Она медленно опускается. Лейтенант жадно читает записку при свете ракеты. Выражение необычайной радости появляется у него на лице.

— Прочитали? — спрашивает дядя Федя.

— Да, прочитал, — смущенно отвечает лейтенант. — А что?

— Да так, ничего!—отвечает дядя Федя. Прикла-

дывается из винтовки и стреляет в ракету. Ракета гаснет. Лейтенант смеется и берет дядю Федю за плечи.

— Чудесно! — говорит он. — С таким стрелком, как вы, мы выиграем операцию.

— Если у командира сердце счастливое, всегда бывает удача, — отвечает дядя Федя.—Есть у меня такая думка, что весело у вас на душе, товарищ лейтенант.

— Да, пожалуй, — соглашается лейтенант. — Как вы догадались?

— Боцманский глаз — он все видит, товарищ лейтенант.

— Ну что ж, пойдемте, — говорит лейтенант, быстро прячет в книгу ответную записку, кладет книгу на место, прощается с букинистом и уходит. Дядя Федя крепко трясет руку букинисту, машет Файнштейну и уходит вслед за лейтенантом.

Файнштейн открывает окно.

— Я, знаете, — говорит он букинисту, — удивляюсь на современных стариков. Очень удивляюсь. Это мне даже нравится.

Букинист молчит и складывает книги. Руки его дрожат.

* * *

Радиорубка. Темнота. Слабым накалом горят лампочки на приборах. За открытым окном шумит и вздыхает море. В нем мигают, как зарницы,

вспышки орудийного огня. Доносятся тяжелые залпы.

К окну кто-то подходит, закрывает его, спускает плотную штору и включает свет. Это — высокая девушка, та, что приходила за письмом к букинисту. Она садится к микрофону и говорит:

— Слушайте! Слушайте! Говорит осажденная Одесса. Этой ночью наш морской десант под командой лейтенанта Бахметьева... — Девушка на мгновенье умолкает, прикрывает глаза ладонью и, улыбаясь, повторяет: — ... лейтенанта Бахметьева высадился в тылу у немецких частей, окруживших два дня назад подразделение наших моряков, и нанес внезапный удар по немецким частям. Освобожденные моряки совместно с десантом опрокинули после короткой и ожесточенной схватки немецкие и румынские части и преследовали их километра два. Взяты большие трофеи и пленные. Во время боя особенно отличился доброволец, бывший боцман броненосца «Ростислав» товарищ Ковальчук.

Девушка замолкает, выключает микрофон, снова закрывает ладонью глаза и говорит:

— Он жив, жив, жив.

* * *

Девушка быстро идет по ночным грозным улицам Одессы. Шумят под ветром акации. Темные валы баррикад. Далекие зарева. Гулкие взрывы.

Девушка подходит к окну, под которым всегда сидит букинист. Светает. Окно закрыто. Девушка садится на выступ стены, кутается в легкий платок и неподвижно смотрит вдаль. Глаза ее сияют. Она часто взглядывает на часы на руке.

— Как далеко до рассвета, — говорит она, хотя косое солнце уже освещает вершины акаций.

Занавеска в окне отдергивается. Заспанный Файнштейн открывает окно, садится на подоконник и закуривает.

— Одесса, Одесса! — говорит он в пространство. — Сколько здесь моря, сколько солнца и сколько храбрых людей.

Девушка подымает голову.

— Милый город, — говорит она.

Файнштейн замечает ее, вскрикивает, отшатывается, потом высовывается в окно и говорит свистящим шопотом:

— Послушайте, вас же убили. Они умрут от разрыва сердца, если вас увидят. Что же теперь делать, я не понимаю. Спрячьтесь пока у меня.

Девушка встает и с недоумевающей улыбкой смотрит на Файнштейна.

* * *

Букинист раскладывает книги. Подходит усталый, запыленный дядя Федя, здоровается, садится под стеной, ставит между ног винтовку.

— Накрутили мы, Степа, немцам хвост, — гово-

рит он. — Слыхал радио? Да все одно, — радости у меня нету. Сейчас лейтенант сюда придет, кинется к Пушкину, а там пусто.

— Да, пусто, — говорит букинист.

Распахивается окно. В нем появляется Файнштейн.

— Привет, молодые люди, — говорит он развязным тоном. — Тысячу приветов в это прелестное утро!

Букинист и дядя Федя с изумлением смотрят на Файнштейна. Файнштейн поет надтреснутым голосом:

Сквозь ночной туман
Мрачен океан.
Мичман Джонс угрюм и озабочен...

— Вы, послушайте, как это, — осторожно говорит дядя Федя, — вы пьяный, что ли? Что за фигли-мигли, когда у людей балласт на душе. Распиликался, как птичка на ветке. Сейчас лейтенант сюда придет, так я посмотрю, что вы ему скажете.

— Я, знаете, ему ничего не скажу, — отвечает Файнштейн. — Он поймет меня и без слов.

Дядя Федя качает головой:

— До чего у вашей профессии слабые нервы. Слетели вы с катушек, товарищ Файнштейн. А отчего? От тех паршивых немецких бомб, что ли?

К букинисту подходит лейтенант.

— Ну, как мой Пушкин? — спрашивает он.

Букинист начинает судорожно распаковывать од-

ну из книжных пачек. Дядя Федя стоит помертвевший. Файнштейн смотрит на лейтенанта и смеется.

— Замолчи, подлый ты человек! — шипит на него дядя Федя.

Файнштейн делает какие-то знаки в глубину комнаты. Там мелькает тень девушки. Тотчас хлопает парадная дверь, и девушка, смеясь, бросается к лейтенанту, протягивает ему руки и с ослепительной улыбкой смотрит ему в глаза. Дядя Федя в ужасе пятится, хрипло вскрикивает, шарахается в сторону, но девушка крепко берет его за руку. Букинист роняет книгу. На лице его выражение смущения и радости.

— Я все знаю, — говорит девушка, — спасибо, дядя Федя. Спасибо вам, и Степану Петровичу, и товарищу Файнштейну. Если бы я действительно умерла, вы бы не могли поступить лучше.

— Вот, понимаешь, — смущенно бормочет дядя Федя, вытирает рукавом пот со лба и хихикает, — какая получилась петрушка. Видать, что я обознался, когда дальнобойный рванул за углом.

— А все хвалишься — боцманский глаз да боцманский глаз! — насмешливо говорит букинист.

* * *

Под тем же окном букинист торопливо обрывает у книг переплеты и складывает книги кучей на тротуаре. Букинисту помогает дядя Федя. Файнштейн

в пальто и старомодном канотье высовывается из окна и протягивает букинисту темную бутылку.

— Вот керосин, — говорит он. — Спички есть?

— Есть.

— Эх, Степа, — бормочет дядя Федя,—покидаем мы с тобой Одессу. Душа у меня спеклась от горя. И лучше бы я руки себе сжег, чем эти великолепные книги.

— Ничего я немцам не оставлю, ни одной строчки, — говорит букинист. — Ночи я не спал, берег эти книги, читал их... Нету лучшего счастья, Федя, как с книгами сдружиться с самых малых лет. Не было у меня ни жены, ни детей, Федя, ни любимой женщины, а были вот эти друзья. Все равно, что я друзей своих убиваю. Да что говорить, Федя!

Отдаленные крики пароходных сирен.

— Пора, — говорит дядя Федя. — Транспорта скоро отваливают. Пора, Степан. Весь город уже пустой.

Букинист трясущимися руками поджигает груду книг.

Выходит Файнштейн. Книги горят. Букинист снимает шапку и плачет. Дядя Федя и Файнштейн молча смотрят на пламя.

—Ну, пошли, — говорит наконец дядя Федя. — Значит, Степа, ты ни одной книги не сберег. Со всеми попрощался.

— Нет, — отвечает букинист. — Одну книгу я с собой взял. И будь другом, Федя, ежели убьют

меня или я умру, похорони меня с той книгой в руках. Вот с этой книгой, Федя.

Букинист достает из-под пальто томик Пушкина.

— Была эта книга помощницей редкой любви и геройства, — говорит букинист. — Дороже она мне всего на свете.

— А интересно, — говорит дядя Федя, — что там на этой самой шестьдесят седьмой странице? Прочитай напоследок, Степа.

Букинист раскрывает книгу и читает:

Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.

— Вот, — говорит печально дядя Федя, — какие слова. Жалко мне Черного моря, и веселой Одессы, и вольного воздуха. Сказать не могу, как жалко. Быть не может, чтобы отгудели наши пароходы, Степа.

— Еще как загудят, дорогой товарищ Ковальчук, — говорит Файнштейн. — Дайте время.

— Будет тебе, Федя, — говорит букинист, — и Черное море, и Одесса, и вольный воздух. Потерпи. Вернется к нам родная земля.

Букинист, дядя Федя и Файнштейн медленно уходят.

На тротуаре догорают книги.

РОБКОЕ СЕРДЦЕ

арвара Яковлевна, фельдшерица туберкулезного санатория, робела не только перед профессорами, но даже перед больными. Больные были почти все из Москвы, народ очень требовательный. Их раздражала жара, пыльный сад санатория, лечебные процедуры, одним словом — всё.

Из-за робости своей Варвара Яковлевна, как только вышла на пенсию, тотчас переселилась на окраину города, в Карантин. Она купила там домик под черепичной крышей и спряталась в нем от пестроты и шума приморских улиц. Бог с ним, с этим южным оживлением, с хриплой музыкой громкоговорителей, ресторанами, откуда несет пригорелой бараниной, автобусами, треском гальки на бульваре под ногами гуляющих.

В Карантине во всех домах было очень чисто, тихо, а в садиках пахло нагретыми листьями помидоров и полынью. Полынь росла даже на древней генуэзской стене, окружавшей Карантин. Через пролом в стене были видны мутноватое зеленое море и скалы. Около них весь день возился, ловил корзинкой креветок старый, всегда небритый грек Спиро. Он лез, не раздеваясь, в воду, шарил

под камнями, потом выходил на берег, садился отдохнуть, и с его ветхого пиджака текла ручьями теплая морская вода.

От робости своей Варвара Яковлевна не вышла замуж, и сватался-то к ней только провизор Гумперт, — подслеповатый старичок, говоривший фальцетом.

Единственной любовью Варвары Яковлевны был племянник Ваня Герасимов, сын ее умершей сестры, театральной кассирши. Кто был отцом Вани, Варвара Яковлевна так и не дозналась. Должно быть, какой-нибудь оркестрант из театра. Ваня жил и воспитывался у тетки.

Воспитательницей Варвара Яковлевна была, конечно, плохой. За это на нее постоянно ворчал сосед по усадьбе, бывший преподаватель естествознания, или, как он сам говорил, «естественной истории», Егор Петрович Введенский. Каждое утро он выходил в калошах в свой сад поливать помидоры, придирчиво рассматривал шершавые кустики и, если находил сломанную ветку или валявшийся на дорожке зеленый помидор, разражался грозной речью против соседских мальчишек.

Варвара Яковлевна, копаясь в своей кухоньке, слышала его гневные возгласы, и у нее замирало сердце. Она знала, что сейчас Егор Петрович окликнет ее и скажет, что Ваня опять набезобразничал у него в саду и что у такой воспитательницы, как она, надо отбирать детей с милицией и от-

правлять в исправительные трудовые колонии. Чем, например, занимается Ваня? Вырезает из консервных жестянок пропеллеры, запускает их в воздух при помощи катушки и шнурка, и эти жужжащие жестянки летят в сад к Егору Петровичу, ломают помидоры, а иной раз и цветы — бархатцы и шалфей. Подумаешь, изобретатель! Циолковский! Мальчишек надо приучать к строгости, к полезной работе. А то купаются до тошноты, дразнят старого Спиро, лазают по генуэзской стене. Банда обезьян, а не мальчишки. А еще советские школьники!

Варвара Яковлевна отмалчивалась. Егор Петрович был, конечно, неправ, она это хорошо знала. Ее Ваня—мальчик тихий. Он все что-то мастерил, рисовал, посапывая носом, и охотно помогал Варваре Яковлевне в ее скудном, но чистеньком хозяйстве.

Воспитание Варвары Яковлевны сводилось к тому, чтобы сделать из Вани доброго и работящего человека. В бога Варвара Яковлевна, конечно, не верила, но была убеждена, что существует таинственный «закон возмездия», карающий человека за каждую ошибку и за все зло, какое он причинил окружающим.

Когда Ваня подрос, Егор Петрович неожиданно потребовал, чтобы мальчик учился у него делать гербарии и определять растения. Они быстро сдружились. Ване нравились полутемные комнаты в доме Егора Петровича, засушенные цветы в папках с надписью «Крымская флора» и пейзажи на сте-

нах, сделанные сухо и приятно, — виды водопадов и утесов, покрытых плющом.

После десятилетки Ваню взяли в Красную Армию, в летную школу под Москвой. После службы в армии он мечтал поступить в художественную школу, может быть, даже окончить академию в Ленинграде. Егор Петрович одобрял эти ванины мысли. Он считал, что из Вани выйдет художник-ботаник, или, как он выражался, «флорист». Есть же художники-анималисты, бесподобно рисующие зверей. Почему бы не появиться художнику, который перенесет на полотно все разнообразие растительного мира.

Один только раз Ваня приезжал в отпуск, и Варвара Яковлевна не могла на него наглядеться: синяя куртка летчика, темные глаза, голубые петлицы, серебряные крылья на рукавах, а сам—весь черный, загорелый, но все такой же застенчивый. Да, мало переменила его военная служба.

Весь отпуск Ваня ходил с Егором Петровичем за город, в Сухие горы, собирал растения и много рисовал красками. Варвара Яковлевна развесила его рисунки на стенах. Сразу же в доме повеселело, будто открыли много маленьких окон и за каждым из них синел клочок неба и дул теплый ветер.

* * *

Война началась так странно, что Варвара Яковлевна сразу ничего и не поняла. В воскресенье она

пошла за город, чтобы нарвать мяты, а когда вернулась, то только ахнула. Около своего дома стоял на табурете Егор Петрович и мазал белую стену жидкой грязью, разведенной в ведре. Сначала Варвара Яковлевна подумала, что Егор Петрович совсем зачудил (чудачества у него были и раньше), но тут же увидела и всех остальных соседей. Они тоже торопливо замазывали коричневой грязью — под цвет окружающей земли — стены своих домов. А вечером впервые не зажглись маяки. Только тусклые звезды светили в море. В домах не было ни одного огня, и до рассвета внизу, в городе, лаяли, как в темном погребе, встревоженные собаки. Над головой все гудел, кружился самолет, охраняя город от немецких бомбардировщиков.

Все было неожиданно, страшно. Варвара Яковлевна сидела до утра на пороге дома, прислушивалась и думала о Ване. Она не плакала. Егор Петрович шагал по своему саду и кашлял. Иногда он уходил в дом покурить, но долго там не оставался и снова выходил в сад. Изредка с невысоких гор задувал ветер, доносил блеяние коз, запах травы, и Варвара Яковлевна говорила про себя: «Неужто война?»

Перед рассветом с моря долетел короткий гром. Потом второй, третий... По всем дворам торопливо заговорили люди: Карантин не спал. Никто не мог объяснить толком, что происходило за черным горизонтом.

Быстро прошло тревожное, грозное лето. Война приближалась к городу. От Вани не было ни писем, ни телеграмм. Варвара Яковлевна, несмотря на свою старость, добровольно вернулась к прежней работе — служила сестрой в госпитале. Так же как все, она привыкла к черным самолетам, свисту бомб, звону стекла, всепроникающей пыли после взрывов, к темноте, когда ей приходилось ощупью кипятить в кухоньке чай.

Осенью немцы заняли город. Варвара Яковлевна осталась в своем домике на Карантине, не успела уйти. Остался и Егор Петрович.

На второй день немецкие солдаты оцепили Карантин. Они молча обходили дома, быстро заглядывали во все углы, забирали муку, теплые вещи, а у Егора Петровича взяли даже старый медный микроскоп. Все это они делали так, будто в домах никого не было, даже ни разу не взглянув на хозяев.

Во рву за Ближним мысом почти каждый день расстреливали евреев, — многих из них Варвара Яковлевна знала.

У Варвары Яковлевны начала дрожать голова. Варвара Яковлевна закрыла в доме ставни и переселилась в сарайчик для дров. Там было холодно, но все же лучше, чем в разгромленных комнатах, где в окнах не осталось ни одного целого стекла.

По ночам Варвара Яковлевна думала о войне и не могла понять, как все это случилось. Неужели не существует в мире «закона возмездия»? Она

слышала о Гитлере, — немцы даже назвали его именем улицу в городе. Он был безумный, страшный и подлый человек, и Варваре Яковлевне трудно было понять, как огромный немецкий народ, — все эти солдаты, заполнившие город, — могли повиноваться бешеному и визгливому чудовищу и убивать, убивать без конца, только во имя ненависти, крови, людского несчастья.

Позади генуэзской стены немцы поставили тяжелые батареи. Орудия были наведены на море. Оно уже по-зимнему кипело, бесновалось. Часовые приплясывали в своих продувных шинелях, посматривали вокруг красными от ветра глазами, покрикивали на одиноких пешеходов.

* * *

Однажды зимним утром с тяжелым гулом налетели с моря советские самолеты. Немцы открыли огонь. Земля тряслась от взрывов. Сыпалась черепица. Огромными облаками вспухала над городом пыль, рявкали зенитки, в стены швыряло оторванные ветки акаций. Кричали и метались солдаты в темных серых шинелях, свистели осколки, в тучах перебегали частые огни разрывов. А в порту, в пакгаузах уже шумел огонь, коробил цинковые крыши.

Егор Петрович, услышав первые взрывы, торопливо вышел в сад, протянул трясущиеся руки к самолетам, — они низко проносились над Карантин-

ном, — что-то закричал, и по его сухим белым щекам потекли слезы.

Варвара Яковлевна открыла дверь сарайчика и смотрела, вся захолодев, как огромные ревущие птицы кружили над городом и под ними на земле взрывались столбы желтого огня.

— Наши! — кричал Егор Петрович. — Это наши, Варвара Яковлевна! Да разве же вы не видите? Это они!

Один из самолетов задымил, начал падать в воду. Летчик выбросился с парашютом. Тотчас в море, к тому месту, где он должен был упасть, помчались, роя воду и строча из пулеметов, немецкие катера.

Тяжелые немецкие батареи были разбиты, засыпаны землей. На главной улице горел старинный дом с аркадами, где помещался немецкий штаб. В порту тонул, дымясь, румынский транспорт, зеленый и пятнистый, как лягушка.

* * *

После налета пробралась из города на Карантин пожилая рыбачка Паша и рассказала, что во время бомбежки убито много немцев, и еще какая-то женщина около базара, и больной Гумперт — тот, что хотел когда-то жениться на Варваре Яковлевне.

Варвара Яковлевна не могла оставаться дома. Она пошла к Егору Петровичу. Он стоял около

стены, заросшей диким виноградом, и стирал тряпкой белую пыль с листьев. Листья были сухие, зимние, и, вытирая листья, Егор Петрович все время их ломал.

— Что же это, Егор Петрович? — тихо спросила Варвара Яковлевна.

— Так надо! — ответил Егор Петрович, и борода его затряслась. — А вы полагаете, им это легко далось? — закричал Егор Петрович.—Им это было легко? Великий подвиг! Великий!

— Не умещается это у меня в голове, Егор Петрович. Глупа я, стара, должно быть...

Егор Петрович долго молчал и вытирал листья.

Перед вечером по Карантинной улице прошло трое немецких солдат. Один нес пук листовок, другой — ведро с клейстером. Сзади плелся, все время сплевывая, рыжий сутулый солдат с автоматом.

Солдаты наклеили объявление на столб около дома Варвары Яковлевны и ушли. Никто к объявлению не подходил. Варвара Яковлевна подумала, что, должно быть, никто и не заметил, как немцы клеили эту листовку. Она накинула рваную телогрейку и пошла к столбу. Уже стемнело, и если бы не узкая желтая полоска на западе среди разорванных туч, то Варвара Яковлевна вряд ли прочла бы эту листовку.

Листовка была еще сырая. На ней было напечатано:

«За срыванье — расстрел. От коменданта. Советские летчики произвели бомбардирование города. Один из летчиков, виновных в этом, взят в плен. Его зовут Иван Герасимов. Германское командование решило расстрелять его. Завтра в семь часов утра его проведут по главной улице города.

Комендант города обер-лейтенант Зус».

* * *

Варвара Яковлевна оглянулась, сорвала листовку, спрятала ее под телогрейку и торопливо пошла к себе в сарайчик.

Первое время она сидела в оцепенении и ничего не понимала, только перебирала дрожащими пальцами бахрому старенького серого платка. Потом у нее начала болеть голова, и Варвара Яковлевна заплакала. Мысли путались. Что же это такое? Неужели его, Ваню, немцы завтра убьют где-нибудь на грязном дворе, около поломанных грузовиков, где воняет бензином и земля лоснится от машинного масла... Мысль, что Ваню убьют обязательно на грязном дворе, все время приходила в голову, и Варвара Яковлевна никак не могла ее отогнать.

Как спасти его? Чем помочь? Зачем она сорвала эту листовку со столба? Чего она испугалась? Немцев? Нет. Ей было совестно перед своими. Она хотела скрыть листовку от Егора Петровича, от всех. Немцы убьют Ваню, могут убить и ее, Варвару Яковлевну, за то, что она сорвала этот липкий кло-

чок бумаги. А свои? Свои, кроме чудака Егора Петровича, никогда не простят ей эту убитую женщину и старичка-провизора и разбитые в мусор дома, где они жили столько лет, дома, где все знакомо — от облупившейся краски на перилах до ласточкиного гнезда под карнизом. Ведь все знают, что Ваня — ее воспитанник, а многие даже уверены, что он ее сын.

Варвара Яковлевна как будто уже чувствовала на себе пристальные взгляды, слышала шопот за спиной. Как она будет смотреть всем в глаза? Лучше бы Ваня убил ее, а не этих людей. А Егор Петрович еще говорит, что это — великий подвиг.

Варвара Яковлевна все перебирала бахрому платка, все плакала, пока не начало светать.

Утром она крадучись вышла из сарайчика и спустилась в город. Ветер свистел, раздувал над улицами золу, пепел. В черной мрачности, во мгле шумело море. Казалось, что ночь не ушла, а только притаилась, как воровка, в подворотнях и дышит оттуда плесенью, гарью, окалиной.

Теперь, на рассвете, у Варвары Яковлевны все внутри будто выжгло слезами, и ничто уже ее не пугало. Лишь бы увидеть Ваню, хоть родинку на его щеке, а потом умереть.

Варвара Яковлевна шла торопливо, глядя себе под ноги, и не замечала, что позади нее шел Егор Петрович. Не видела она и старого Спиро, пробиравшегося туда же, на главную улицу, и веснуща-

тую рыбачку Пашу. Варвару Яковлевну не покидала надежда, что, может быть, никто не придет смотреть, как будут вести ее Ваню. Придет только она одна, и ничто не помешает ей его увидеть.

Но Варвара Яковлевна ошиблась. Серые озябшие люди уже жались под стенами домов.

Варвара Яковлевна боялась смотреть им в глаза. Она не подымала головы, все ждала обидного, злого окрика. Иначе она бы увидела, как переменился ее родной город, будто вывернутый наизнанку нарядный сверху, но рваный изнутри костюм. Увидела бы трясущиеся головы людей, сухие волосы, пыльные морщины, красные веки.

Варвара Яковлевна остановилась около афишного столба, спряталась за ним, вся съежилась, ждала. Обеими руками она комкала старенькую шелковую сумочку, где кроме носового платка и ключа от сарайчика ничего не было.

На столбе висели клочья афиш. Они извещали о событиях как будто тысячелетней давности — симфония Шостаковича, гастроли чтеца Яхонтова.

Люди всё подходили молча и торопливо. Было так тихо, что даже до главной улицы доносились раскаты прибоя. Он бил о разрушенный мол, взлетал серой пеной к тучам, откатывался и снова бил в мол соленой водой.

Потом толпа вдруг вздохнула, вздрогнула и придвинулась к краю тротуара. Варвара Яковлевна подняла глаза.

За спинами людей, закрывавших от нее мостовую, она увидела в глубине улицы серые каски, стволы винтовок. Все это медленно приближалось, слегка покачиваясь и гремя сапогами.

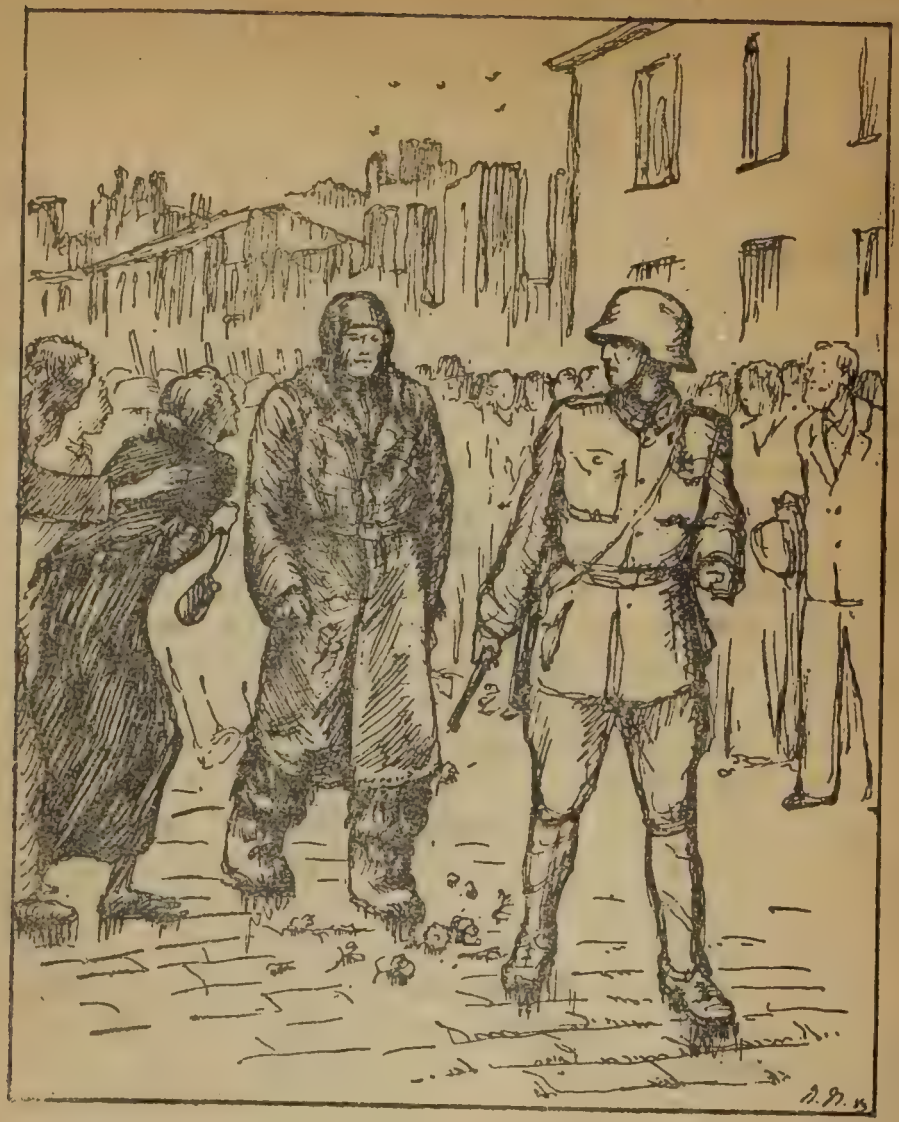
Варвара Яковлевна схватилась рукой за столб, подалась вперед, вытянула худенькую шею.

Кто-то взял ее за локоть и быстро сказал: «Только не кричите, не выдавайте себя!» Варвара Яковлевна не оглянулась, хотя и узнала голос Егора Петровича.

Она смотрела на темную приближающуюся толпу. Среди немецких шинелей синел комбинезон летчика. Варвара Яковлевна видела мутно, неясно. Она вытерла глаза, судорожно втиснула носовой платок в сумочку и наконец увидела: позади коренастого немецкого офицера шел он, ее Ваня. Шел спокойно, прямо смотрел вперед, но на его лице уже не было того выражения застенчивости, к которому Варвара Яковлевна так привыкла.

Она смотрела, задохнувшись, задерживая дыхание, глотая слезы. Это был он, Ваня, все такой же загорелый, милый, но очень похудевший и с маленькими горькими морщинами около губ.

Внезапно руки у Варвары Яковлевны задрожали сильнее, и она уронила сумочку. Она увидела, как люди в толпе начали быстро снимать шапки перед Ваней, а многие, так же как и Варвара Яковлевна, как Егор Петрович, прижимали к глазам рукава.



А потом Варвара Яковлевна увидела, как на мокрую от дождя мостовую неизвестно откуда упала и рассыпалась охапка сухих крымских цветов. Немцы нахмурились, пошли быстрее. Ваня улыбнулся кому-то, и Варвара Яковлевна вся расцвела, заулыбалась сквозь слезы, — так до сих пор он улыбался только ей одной.

Когда отряд поравнялся с Варварой Яковлевной, толпа перед ней расступилась и несколько рук осторожно схватили ее, вытолкнули вперед на мостовую, и она очутилась в нескольких шагах от Вани. Он увидел ее, побледнел, но ни одним движением, ни словом не показал, что он знает эту трясущуюся маленькую старушку. Она смотрела на него умоляющими глазами.

— Прости меня, Ваня, — сказала Варвара Яковлевна и заплакала так горько, что даже не увидела, как быстро и ласково взглянул на нее Ваня, не услышала, как немецкий офицер хрипло крикнул ей: «Назад!» — и выругался и не заметила, как Егор Петрович и старый Спиро втащили ее обратно в толпу и толпа тотчас закрыла ее от немцев. Она только помнила потом, как Егор Петрович и Спиро вели ее через пустыри, по битой черепице, среди белого от известки чертополоха.

— Не надо, — бормотала Варвара Яковлевна. — Пустите меня. Я здесь останусь. Пустите.

Но Егор Петрович и Спиро крепко держали ее под руки и ничего не отвечали.

Егор Петрович привел Варвару Яковлевну в сарайчик, уложил на топчан, укрыл всем, что было теплого, а Варвара Яковлевна дрожала так, что у нее стучали зубы. Она старалась стиснуть изо всех сил рукой уголок старенького серого платка, шептала: «Что же это такое, господи? Что же это?»— и из горла у нее иногда вырывался тонкий писк, какой часто вырывается у людей, сдерживающих слезы.

Как прошел этот день, Варвара Яковлевна не помнила. Он был темный, бурный, сырой — такие зимние дни проходят быстро. Не то они были, не то их и вовсе не было. Все настойчивее гудело море. Ветер рвал сухой кустарник на каменных мысах, швырялся полосами ледяного дождя.

Ночью в гул моря неожиданно врезался тяжелый гром; завыли сирены и снаряды, загрохотали взрывы, эхо пулеметной стрельбы застучало в горах. Егор Петрович вбежал в сарайчик к Варваре Яковлевне и что-то кричал ей в темноте. Но она не могла понять, что он кричит, пока не услышала, как вся ненастная ночь вдруг загремела отдаленным молодым протяжным криком «ура». Он рос, этот крик, катился вдоль берега, врывался в узкие улицы Карантина, скатывался по спускам в город.

— Наши! — кричал Егор Петрович, и желтый кадык на его шее ходил ходуном. Егор Петрович всхлипывал, смеялся, потом снова начинал всхлипывать.

К рассвету город был занят советским десантом. И высадка этого десанта стала возможной потому, что советские летчики разбомбили, уничтожили немецкие тяжелые батареи.

Так сказал Варваре Яковлевне Егор Петрович. Сейчас он возился в кухоньке у Варвары Яковлевны, кипятил ей чай.

Варвара Яковлевна отвернулась к стене и заплакала, но так тихо, что Егор Петрович ничего не расслышал.

Ему показалось, что Варвара Яковлевна уснула.

Чайник на кухне кипел, весело постукивая крышкой. Сквозь низкие тучи пробилось солнце. Оно осветило пар, что бил из чайника, и тень от струи пара без конца улетала, струилась по белой стене голубоватым дымом и никак не могла улететь.

СТРУНА

сколок снаряда порвал струны на скрипке. Осталась только одна, последняя. Запасных струн у музыканта Егорова не было, и достать их было негде, потому что дело происходило осенью 1941 года на осажденном острове Эзеле в Балтийском море. Даже не на самом острове, а на небольшом его клочке — на косе Церель, где советские моряки отбивали непрерывные атаки немцев.

Оборона этого полуострова войдет в историю войны, как одна из ее прекрасных и величавых страниц. Он прославлен бесстрашием советских людей. Эти люди дрались до последней пули.

Налетали ветры, и неспокойно шумело море. Оно было блестящим и серым, как свежий разрез на свинце. Окончились северные летние ночи, но закаты, как всегда на Эзеле, медленно горели над водой, и сонно шумел сосновый лес, разросшийся на дюнах. Шум сосен не проникал в окопы. Его заглушали взрывы, свист бомб, визг мин и хватающий за сердце рев бомбардировщиков.

Война застала на Эзеле нескольких советских актеров — мужчин и женщин. Днем мужчины вместе с бойцами рыли окопы и отбивали немецкие атаки, а женщины перевязывали раненых и стирали бойцам

белье. А ночью, если не было боя, актеры устраивали концерты и спектакли на маленьких полянах в лесу.

«Хорошо, — скажете вы. — Конечно, в темноте можно слушать пение или музыку (если актеры поют вполголоса, а музыканты играют под сурдинку, чтобы звуки не долетали до неприятеля), но непонятно, как актеры ухитрялись разыгрывать спектакли в ночном лесу, где мрак плотнее, чем в поле или над открытой водой. Что в этом мраке могли увидеть зрители?»

Музыканты привыкли играть в темноте, но как же другие актеры? А они показывали морякам сцены из Шекспира, Чехова и «Профессора Мамлока» Фридриха Вольфа.

Но война и отсутствие света по ночам создали свои традиции и выдумки. Как только начинался спектакль, зрители наводили на актеров узкие лучи карманных электрических фонариков. Лучи эти все время перелетали, как маленькие огненные птицы, с одного лица на другое, в зависимости от того, кто из актеров в это время говорил. Но чаще всего лучи останавливались на лице молоденькой артистки Елагиной и подолгу замирали на нем, хотя Елагина и молчала. В ее улыбке, в глазах каждый из моряков находил любимые черты, которые он давно, с первых дней войны, берег в самом надежном уголке сердца.

На Егорова зрители никогда не наводили лучей фонариков. Всегда он играл в темноте, и единственной точкой света, какую он часто видел перед

собой, была большая звезда. Она лежала на краю моря, как забытый маяк. Ее не могли погасить залпы тяжелых батарей, не мог задушить желтый дым разрывов. Она сверкала, как напоминание о победе, неизменности мира, будущем покое, и, может быть, за это моряки и актеры полюбили эту звезду и прозвали ее «подругой».

Струны на скрипке были порваны, и Егоров больше не мог играть. На первом же ночном концерте он сказал об этом невидимым зрителям. Неожиданно из лесной темноты чей-то молодой голос неуверенно ответил:

— А Паганини играл и на одной струне...

Паганини! Разве Егоров мог равняться с ним, с великим музыкантом!

Егоров медленно прижал скрипку к плечу. Большая звезда спокойно горела на краю залива. Свет ее не мерцал, не переливался, как всегда. Звезда как будто притихла и приготовилась слушать музыканта. Егоров поднял смычок. И неожиданно одна струна запела с такой же силой и нежностью, как могли бы петь все струны.

Тотчас вспыхнули электрические фонарики. Впервые их лучи ударили в лицо Егорова, и он закрыл глаза. Играть было легко, будто сухие, легкие пальцы Паганини водили смычком по изуродованной скрипке. Слеза сползла из-под закрытых век музыканта, и в коротком антракте войны, в глухом лесу, где пахло вереском и гарью, звенела и росла ме-

лодия Чайковского, и от ее томительного напева, казалось, разорвется, не выдержит сердце.

Последняя струна, действительно, не выдержала силы звуков и порвалась. Она зажужжала, как шмель, и затихла. Сразу же свет фонариков перелетел с лица Егорова на скрипку. Скрипка замолчала надолго. И свет фонариков погас. Толпа слушателей только вздохнула. Аплодировать в лесу было нельзя — могли услышать немцы.

Я рассказываю подлинный случай. Поэтому напрасно читатель будет ждать ловко придуманной развязки. Она оказалась очень простой: Егоров умер. Он был убит через два дня во время ночного боя. Ему не на чем было играть, и он стал обыкновенным бойцом обыкновенной пехотной части.

Его похоронили в грубой песчаной земле, когда накрапывал дождь. Море затянулось туманом. На ветвях сидели мокрые синицы. Они уже привыкли к свисту пуль и только удивленно попискивали, когда пуля ударяла в ствол дерева и с листьев сыпались брызги.

Скрипку Егорова бойцы положили в футляр, зашили в старое байковое одеяло и передали летчику, улетавшему в Ленинград. Летчик сразу же набрал высоту, чтобы уйти от немецких зениток. Десятки огней вспыхивали за хвостом самолета.

В Ленинграде летчик отнес скрипку главному дирижеру консерватории. Тот взял ее двумя пальцами, взвесил в воздухе и улыбнулся, — это была

чудесная скрипка, потерявшая вес от старости и многолетнего пения.

— Я передам ее лучшему скрипачу нашего симфонического оркестра, — сказал летчику дирижер консерватории. Летчик, простой белобрысый парень, кивнул головой.

Где теперь эта скрипка — я не знаю. Говорят, что она в Москве. Но где бы она ни была, она играет прекрасные симфонии — знакомые нам и любимые нами, как старое небо Европы, как слово Пушкина, Шекспира или Гейне. Она играет мелодии Чайковского, Шостаковича и Шапорина.

Звуки симфонии так могучи, что рождают ветер. Вы, должно быть, заметили, как он порывами налетает на вас со сцены, шевелит волосы, заставляет сердца слушателей дрожать от гордости за человека.

Поют сотни струн, поют трубы, — победа придет! Потому что не может не победить наша страна, где люди идут в бой, унося в душе звуки скрипичных песен, где так просто умирают за будущее скромные музыканты и где созданы могучие симфонии, потрясающие мир.

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

80 коп.

10041